

Николай Вербицкий-Антиохов

У костра



Николай Вербицкий-Антиохов
У костра

«Public Domain»

1900

Вербицкий-Антиохов Н. А.

У костра / Н. А. Вербицкий-Антиохов — «Public Domain», 1900

«Случилось это назад тому лет восемь. Мы сидели у костра под огромной ивой на берегу Станевецкого озера. Июльская ночь стояла тихая и темная, небо все искрилось звездами; большие и лучистые, они светили как-то особенно ярко; мирно потрескивал наш костер, около которого возился старый Михей с котелком и чайником; на озере где-то порою крякала утка, да недалеко от нас водяная курочка посвистывала жалобно и назойливо...»

© Вербицкий-Антиохов Н. А., 1900

© Public Domain, 1900

Николай Вербицкий-Антиохов

У костра

*Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.*

Гамлет

Случилось это назад тому лет восемь.

Мы сидели у костра под огромной ивой на берегу Станевецкого озера. Июльская ночь стояла тихая и темная, небо все искрилось звездами; большие и лучистые, они светили как-то особенно ярко; мирно потрескивал наш костер, около которого возился старый Михей с котелком и чайником; на озере где-то порою кричала утка, да недалеко от нас водяная курочка посвистывала жалобно и назойливо.

Было тепло, почти душно, в воздухе чувствовался избыток электричества: зарницы то и дело вспыхивали по краям горизонта.

В течение вечера мы исходили немало пространства, не без успеха постреляли по бекасам и уткам и теперь отдыхали в чайнии наутро обойти еще раз те же места и к двум часам дня воротиться в город, куда одного из сотоварищей призывало неотложное дело.

Нас было трое охотников: Черешнин, Будневич и я. Сидевший у огня поближе ко мне Черешнин был субъектом богатырского сложения; по его собственному выражению, он был настоящий homo sapiens и представлял нечто среднее между молодым быком и старым Геркулесом; силою и здоровьем светилось его румяное круглое лицо с пышной шевелюрой светлорусых волос, небольшою кудрявою бородкою, чисто русским носом по образу и подобию картофелины, полными, вечно улыбающимися губами и серыми глазами, веселыми и добродушными.

По натуре своей Черешнин был весьма легкомыслен; способностями обладал он огромными, свободно говорил на нескольких языках, мог с непостижимою быстротою делать самые трудные математические выкладки, в химии более чем собаку съел, памятью обладал лошадиною и при всех этих способностях никак не мог приспособить себя к какой-либо определенной деятельности.

Пробовал он быть и педагогом, но вскоре бежал из храма Минервы, отряс прах от ног своих и разругался наповал с ее более солидными жрецами, пробовал служить по акцизу с таким же успехом и результатами, пытался даже сделаться служителем Фемиды, но и из этого ничего не вышло, пробовал «науку двигать», но и наука не двигалась.

Обсудив здраво все обстоятельства, Черешнин порешил, наконец, «жить по вольности дворянства, аки птицы небесные». На его счастье, он был обладателем некоторой поземельной собственности, которую сдавал мужикам в аренду и которая давала ему полную возможность не только удовлетворять потребностям первой необходимости, но даже и позволять себе некоторую роскошь.

А роскошь эта состояла в том, что он, слоняясь с места на место, переезжал из города в город, из губернии в губернию, для вида пристраиваясь к какому-либо предприятию вроде агентуры по части торговли махровыми огурцами, в образе же жизни сохранял привычки, можно сказать, самые спартанские.

– Как тебе не стыдно, Черешнин, – упрекали его приятели, – с такими способностями и так бесшабашно дармоедствовать!

– Ни чуточки не стыдно.

– Неужели-таки не мог ты до сих пор себе род деятельности выбрать?

– Должно, не мог.
– Толкуй! Лениость проклятая одолела.
– И вовсе не лениость.
– А что же?
– А то, что мое призвание идет вразрез с моим положением.
– Какое такое твое призвание?
– Мое призвание?! А думаю я, что мое призвание в балагане на голове ходить да зубами гири поднимать.

– Ну что за свинство! Мало тебя драли в отрочестве?
– Ну, этого не говори: у родителя покойника рука чуть ли не потяжелее моей была, и арапник на гвоздике висел на всякий случай.

– И здоров ты врать, Черешнин!
– Чего врать?! Влетало, брат, так... дай бог каждому! В особенности, когда я в разум приходил начал и стал за девицами ухаживать... Раз так влетало, что я и теперь ни на какую женщину смотреть без содрогания не могу...

Так всегда отделялся Черешнин от более или менее справедливых упреков и продолжал скитаться по матушке России, появляясь в том или другом месте совершенно неожиданно, так же неожиданно исчезая, но везде оставляя по себе добрую память.

Охотник он был порядочный, но особой страстности в этом отношении не обнаруживал, да и ни к чему вообще он не питал особого пристрастия: в карты не играл, кутежами не увлекался, к женщинам был совершенно равнодушен, но хорошую компанию любил и товарищ на охоте был незаменимый: соскучиться с ним было невозможно.

Врал Черешнин здорово, то есть, лучше сказать, он не врал, а увлекался, и в его вранье, если хорошенько поискать, всегда можно было найти основу, если не истинную, то по крайней мере правдоподобную.

Обличали его довольно часто, если эти обличения были деликатны и выражались, например, в форме сомнения, пожимания плечами, махания руками и не шли далее соответственных односложных междометий, Черешнин не обращал на них никакого внимания и пропускал мимо ушей, точно и не о нем речь.

Когда же обливали его слишком уж сильно, он накидывался на своих противников и выпаливал в них вескими аргументами.

– Шут вас знает, что вы за люди такие удивительные?! Ну, вру! А коли вру, значит, мне такой предел положен! И с чего взъелись? Для вашего же блага вру! Ведь не будь меня, с тоски бы подошли, право! Вот так бы взяли И подошли, и монумента бы вам никто не воздвиг!

– А ведь, пожалуй, ты прав.

– Конечно, прав! Ведь у вас жизни только на один винт хватает, да и там вы не живете, а только лагаетесь: из-за семерки пик готовы друг дружке нос оторвать, не правда, что ли? Притворяетесь, что вы серьезные люди, серьезные дела разделяете, а в вас серьезности и на копейку нет, а ваши серьезные дела выеденного яйца не стоят!..

– Ну, это уж слишком!

– Во все не слишком! Эх, вы, поборники истины! А сами с истиной уже во чреве матери раззнакомились, и единственное доступное для вас художественное наслаждение – это враньем пробавляться, да и вранья вы ищите какого поядовитее, чтоб можно было ближнему занозу в чувствительное место запустить... А я вру, да у меня оно, слава аллаху, безобидно выходит, и я, подобно древнему Периклу, могу сказать с законною гордостью: никто из моего вранья себе траурной одежды не выкроил!..

– Будет тебе! Отпусти душу на покаяние!

– То-то на покаяние!.. Со мной раз вот по такому же поводу нижеследующая история произошла...

И началась новая история, столь же невероятная, как и предыдущая, и слушали приятели бойкую, отрывистую, своеобразную речь Черешнина да лишь головой покачивали в наиболее чувствительных местах...

Будневич был экземпляр иного сорта и в своем роде экземпляр замечательный. Он и по наружности выделялся аз ряда: лицо его с высоким интеллигентным лбом, правильно очерченным носом и черной бородой, в которой кое-где уже серебрилась седина, было чрезвычайно красиво; оно напоминало те строгие прекрасные лики христианских отшельников, которые встречаются на картинах старинных итальянских художников; особенно хороши на этом лице были глаза, темные, большие, с особенным загадочным взглядом и глубоко печальные, они клали оттенок грусти на все лицо и сообщали ему особое выражение, сразу останавливавшее на себе внимание наблюдателя. Чужалось, что с этим человеком творится что-то неладное, что там, где-то глубоко, внутри у него засела и копошится какая-то безотвязная мысль, что никак он ее не может переработать и что тяжело ему достается эта переработка. Полоумным его нельзя было назвать, но невольно думалось, что этот человек стоит именно на той границе, где начинается полоумие и кончается здравый рассудок, и что только громадные, нечеловеческие усилия воли не позволяют ему перешагнуть эту границу.

Будневич был молчалив; часто целые вечера проводил он в компании, не проронив ни единого слова, сидя в углу и неподвижно глядя в пространство; иногда же, в редких случаях, на него «находило», тогда глаза его загорались необычайным блеском, лицо оживлялось, и он произносил страстные, горячие речи, от которых колотилось сердце и захватывало дух у слушателей. Ясно сознавалось в такие минуты, что это именно человек трибуны, что на трибуне его настоящее место, что его нервная, огненная речь могла бы довести целые массы до экстаза.

Затем возбуждение проходило, и Будневич опять погружался в свое полусонное состояние, опять овладевали им грезы наяву, и, видимо, тяжелые, мучительные грезы.

Храбростью и присутствием духа он обладал удивительными: в минуту самой грозной опасности ни единая черта его лица не изменялась, ни малейшего волнения он не выказывал, он словно не сознавал опасности и глядел на нее как на нечто постороннее, мимо идущее и никакого отношения к нему не имеющее.

Раз на медвежьей облаве он зарезал медведя, как теленка; как это произошло, мы не видали: мы слышали крик одного из загонщиков, страшный, раздирающий призыв на помощь, а когда сбежались к этому месту, то увидели мертвого медведя с широкой раной на левом боку, мужика в изорванном полушубке, обвязывавшего тряпицей изгрызанную руку, и Будневича, сидевшего на пне и закуривавшего папиросу с обыкновенным своим сосредоточенно-печальным видом; на наши расспросы он отделялся полусловами, и путного ответа от него так и не удалось добиться.

В другой раз отправилось нас несколько человек кататься на лодке по разливу. Нашли островок с несколькими уже распустившимися вербами и кустами дикого терновника, усыпанными белым цветом, точно их кто молоком облил, высадились на островок и стали пить чай. А с запада ползла туча, сизая, суровая, полная самых зловещих предзнаменований, надо было бросать чай и спасаться бегством. Работали усердно, от бури, однако, не ушли: она захватила нас почти у самой пристани – оставалось каких-нибудь три сажени до берега, но эти три сажени обошлись нам чуть не дороже, чем добрых три версты до островка, где мы пили чай. Может быть, так и не удалось бы причалить, если б сторож с пристани не бросил нам веревку с багром, которую мы благополучно поймали и подтянулись к берегу.

Усталые и измученные до последней степени, взлезли мы на кручу, таща за собой свои пожитки; оказалось, что недостает пледа, принадлежавшего Будневичу: видимо, впопыхах мы забыли его на острове. Будневич нахмурился, несколько времени стоял молча и наконец порешил:

– Надо ехать!

- С ума ты сошел?!
- Сошел, не сошел, а надо.
- Да ты погляди, что делается!
- Вижу, а все-таки надо.

Он подошел к берегу и стал сдвигать на воду лежавшую на суше душегубку, на которой и в тихую погоду надо было ездить умеючи.

– Барин, а барин!.. – возопил сторож.

– Чего орешь?! – оборвал его Будневич. – Лодки жаль? Небось не пропадет!.. Впрочем, вот тебе для твоего успокоения! – И он выбросил ему десятирублевую кредитку; сторож хотел было возразить что-то, но, увидевши десятирублевку, так и застыл с раскрытым ртом от неожиданности.

А буря свирепела все больше и больше. В воздухе потемнело, точно в сумерки, да и вечер был не за горами; молния развела тучи, ветер визжал, держаться на ногах можно было только с большим трудом; громадная площадь воды пенилась и клочкотала, точно в котле.

– Ради бога, Будневич, не сумасбродствуй! Плюнь ты на этот плед!

– То-то и есть, что на этот плед я плюнуть не могу. – Что он у тебя, заветный, что ли?

Будневич не отвечал, он сдвинул, наконец, лодку и взял весло. Я подошел к нему.

– Брось! Что за охота на погибель идти?!

– Я не погибну: еще мое время не пришло.

Я хотел схватить его за руку, но он быстро прыгнул в лодку, ловким взмахом весла отчалил ее от берега, и душегубка понеслась, ныряя между волнами.

Часа три мы ждали на берегу, набившись, как сельди в бочонок, в будку сторожа; буря не унималась, гром гудел без перерыва, и дождь хлестал, как из ведра.

В будке царило угрюмое молчание; всем нам было не по себе: мы пустили товарища на верную смерть, а могли бы удержать. Положим, он полоумный, да ведь и с полоумным можно справиться...

Вечер давно наступил, было темно и холодно.

– А вот и я! – раздался голос Будневича у будки.

– Свинья! – выругались мы с невольным облегчением.

Зажгли спичку и осветили Будневича; с него вода лилась, как с русалки, в одной руке он держал весло, а в другой плед...

Итак, мы сидели и предавались отдыху. Черешнин болтал по обыкновению.

– Вот в Суражском уезде Черниговской губернии я по пороше с загонщиками охотился. Там по одному загонщику нанимают; можно в молчанку, можно и с брехом; в молчанку – гривенник в день, а с брехом – пятиалтынный.

– Как это с брехом?

– Так! Сгонит он тебе зайца, идет за ним и брешет и как, брат, брешет! хорошему адвокату впору! Заяц бежит, ну, а ты и лавируй по соображению.

– И удачно выходило?

– Очень... А в Брянском уезде Орловской губернии поросычьими зубами тетеревов стреляют...

– Ну!!

– Накажи бог. Сам видел: мужик из поросычьей головы зубы дергает. Подивился я его искусству и говорю: ты бы, милый, в Брянске зубоврачебный кабинет открыл! А он мне на это: куда нам, говорит, а вот зубов я на целый заряд надергал; на привале-то тетеревка как свистну!.. а дробь-то она, матушка, в Брянске пятнадцать копеечек за фунт!.. А то я еще в Мезени раз налима поймал, так весь Мезень глядеть сбежался...

– И что же?

– Оставил им налима да уехал... За фазанами я еще возле Дербента охотился...

– А за летучими осетрами ты не охотился?

– Ты это что ж? Шутки шутишь?

– Не шучу, а спрашиваю.

– Насчет летучих осетров определительного ничего сказать не могу, но что вообще летучие рыбы бывают – это факт... Вот во время переезда в Америку, так они прямо на палубу... как же!

– Разве ты ездил в Америку! – усомнился я.

– Нет, в Америку я, кажется, не ездил... а собираться собирался, это я хорошо помню.

Даже Будневич не выдержал и улыбнулся, но улыбка только на мгновение осветила его угрюмое лицо: он был, по-видимому, чем-то сильно озабочен.

– Знаете, господа, – проговорил он в раздумье, – я почти уверен, что завтра к двум часам в город не попаду.

В голосе его слышалось нечто странное, что заставило меня обратить на его слова особенное внимание.

– Ну, вздор! – перебил Черешнин. – Как не поспеть?! До города двенадцать верст всего, а охоты тут и до двенадцати часов не хватит.

– Положим... ну, а мне все-таки кажется...

Воцарилось молчание. Костер горел слабо; охалка сырых сучьев со свежими листьями, брошенная на него Михеем, дымила; захваченные огнем листья свертывались и трещали...

– Тогда была как раз такая ночь... – опять проговорил Будневич.

– Когда это?

Будневич не отвечал. Он полулежал, опершись на локоть, свет от костра падал на его красивую голову, и она резко выделялась из окружавшего полусумрака.

– Не попаду в город... нет, не попаду, – начал он опять, точно разговаривая сам с собою.

– Да полно тебе загадками говорить!

– Не загадками... а знаешь, в природе есть много, много странного. – Будневич приподнялся и сел, обхватив руками коленки и упираясь на них подбородком.

– Вы, кажется, господа, намерены о чертовщине трактовать, – вмешался Черешнин, – так я вам доложу, что черта я самолично видел.

– Черта видел?

– Удостоился, как же! Был я, друзья мои, тогда еще мальчишкой... то есть не то чтоб совсем мальчишкой, но все же настоящей солидности еще не имел, и охотился я над Десною с дядюшкой покойным... Было это в октябре месяце, этак в начале... До вечера таскались, убили одну утку, но, между прочим, всю водку выпили, весь табак выкурили и все спички сожгли. Дядюшка и говорит: давай, говорит, ночевать тут на отмели! Что ж, говорю, ночевать так ночевать; только за каким чертом, говорю, дяденька, ночевать будем? Не за чертом, отвечает, а тут гуси на заре беспрерывно полетят. А коли так, говорю, – ночуем! Заночевали. Холод собачий, огня развести никоим манером нельзя, курить хочется до сумасшествия. Слышу, дядя зубами щелкает. «Что, – говорю, – дядюшка, пробрало?» «Пропади оно пропадом!» – отвечает. Так у нас на этом и разговор прекратился, потому никак слова промолвить нельзя: зубы пляшут, как очумелые. Промаялись этак всю ночь; рассветать стало, огляделся – кругом песок, молочайник на нем кое-где, кустики маленькие. Дядюшка и говорит: а-ва-ва-ва! Я такой вид изображаю, что ничего, дескать, понять не могу и объясняться словесно тоже не могу: чуть рот раскрою – тоже а-ва-ва! Наконец, дядюшка придержал себя рукою за подбородок и лепечет: «Ползи вон к тому молочайнику – сейчас лететь будут!» Прополз я шагов тридцать, съезился. А с воды туман поднимается, сизый, холодный-холодный! Слышу, гогочут; хочу курок взвести, пальцы не слушаются. А гогочут ближе, летят! Дядюшка как тарарахнет – один гусь из стаи между мною и дядюшкой, аж загудело! Мы к нему, а гусь тут был – и нет его. «Что за оказия?» – говорю. А дядюшка стал на четвереньки и ползает по песку. «Становись и ты!» – говорит.

«Да зачем?» – «Да гуся искать: ведь тут он!» Стал и я на четвереньки, ползаем. А потом меня осенило. «Дядюшка, – говорю, – ведь это не гусь, а наваждение!» «Истинно, наваждение!» – отвечает дядюшка. «Что ж нам теперь делать?» – «А плюнь, – говорит, – да пойдем!» Плюнули да пошли...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.